

БОРИС СЛУЦКИЙ

**ПРОДЛЕННЫЙ
ПОЛДЕНЬ**

БОРИС СЛУЦКИЙ

ПРОДЛЕННЫЙ
ПОЛДЕНЬ

КНИГА СТИХОВ

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА 1975

В новой книге Бориса Слуцкого — стихи, написанные поэтом за последние годы. Разные тематически, они объединены стремлением автора постичь сложные взаимосвязи современного мира, осмыслить свой гражданский и нравственный опыт, опыт сверстников, чья молодость совпала с Великой Отечественной войной.

Большинство стихотворений книги было опубликовано на страницах периодической печати.

В книге помещены рисунки художника
Алекса**н**дра Род**ч**ен**к**о.

©Издательство «Советский писатель», 1975 г.

1



САМОЕ НАЧАЛО ДНЯ

Огромное дело восхода:
как будто проходит пехота
навстречу грядущему дню
и каждый несет головню.

Согласное это движенье,
прекрасное это сожженье
ошметков ночных на заре,
как бы на огромном костре,—

есть первый значительный праздник
из многих, хороших и разных,
торжеств, фестивалей, что день
устраивает для людей.

И как бы ни прожил тот день я,
гляжу на зарю в убежденье,
что нынешний этот восход
никто уже не отберет.

* * *

Глухою ночью таксисты,
пригнав машины в парк,
сбиваются в четверки,
скидываются на такси

или же просят товарища:
— Пожалуйста, отвези,—
и товарищ развозит
их по всей Москве.

Все знаки, все сигналы
и светофоры все
для них ничего не значат,
они ведь не за рулем.

Все знаки, все сигналы
и светофоры все
в глазах у них не пляшут,
а танцуют в уме.

Дети перебегают
переулок — в уме,
и больницы просят
под окнами не шуметь,

и кирпичи преграждают
улицы — в уме,
и горят светофоры,
не угасают — в уме.

Все шоссе проходят
сквозь шоферские мозги,
и не одно не обходит
шоферского ума.
Мчатся в такси таксисты,
а кругом ни зги.
Это перед рассветом
гуще становится тьма.

НОЧЬЮ В МОСКВЕ

Ночью тихо в Москве и пусто.
Очень чисто. Очень светло.
У столицы, у сорокоуста,
звуки полночью замело.

Листопад, неслышимый в полдень,
в полночь прогремит как набат.
Полным ходом, голосом полным
трубы вечности ночью трубят.

Если же проявить терпенье,
если вслушаться в тихое пенье
проводов, постоять у столба,—
можно слышать, что шепчет судьба.

Можно слышать текст телеграммы
за долами, за горами
нелюбовью данной любви.
Можно уловить мгновенье
рокового звезд столкновенья.
Что захочешь, то и лови!

Ночью пусто в Москве и тихо.
Пустота в Москве. Тишина.

Дня давно отгремела шутиха.
Допылала до пепла она.

Все трамваи уехали в парки.
Во всех парках прогнали гуляк.
На асфальтовых гулких полях
стук судьбы, как слепецкая палка.

РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСКВЫ

Девятнадцатый век разрушают.
Шум, и гром, и асфальтная дрожь.
Восемнадцатый — не разрешают.
Девятнадцатый — рушь, как хошь.

Било бьет кирпичные стены,
с ног сшибает, встать не дает.
Не узнать привычной системы.
Било бьет.

Дом, где Лермонтову родиться
хорошо было,— не подошел.
Эти стены должны раздаться,
чтоб сквозь них троллейбус прошел.

Мрамор черный и камень белый,
зал двусветных вечерний свет,—
что захочешь, то с ним и делай,
потому — девятнадцатый век.

Било жалит дома, как шершень,
жжет и не оставляет вех.
Век текущий бьет век прошедший.
На подходе — грядущий век.

к нервному приводит потрясению,
к учащенному сердцебиению.
Заинтересованность семейная
или же отзывчивость всемирная
и доброжелательность всемерная
или просто любопытство мирное —
но старухи,
затаив дыхание,
обуянные своим добром,
слышат
жаркое Сахар дыхание
и обвалов Гималайских гром.

ФРЕСКА «ЗЛОБА ДНЯ»

[Фрагменты]

Старики обижаются, что старость хуже,
чем это кажется в молодости.
Старухи не обижаются, а ходят за стариками,
как толковые секундные стрелки за непрворными
часовыми.

Впрочем, это — из фрески «Вечность».

Кандидат наук добился приема
у председателя райисполкома
и просит отдельную, трехкомнатную,
с окнами на двор, квартиру.
— Я сделал открытие! Не верите — звоните,
хоть директору института!..—
Председатель райисполкома не верит,
но звонить никому не будет:
он самолично сделал открытие,
что кандидат наук — дубина.

Небо не изменилось с шестнадцатого века,
когда, согласно летописи, оно было голубое.
Солнце заходит в том же самом месте,
где заходило в шестнадцатом веке.
Впрочем, это — из фрески «Вечность».

Закат багровит, кровавит пьяных.
Впрочем, трезвых он также багровит.

Три десятиклассницы — народные дружинницы
с белыми бантами в русых косичках
и красными повязками на белых блузах
бродят по улице в часы получки.
На этой улице одна читальня,
одна забегаловка и два ресторана.
То-то девчонки наслушаются фольклору!

Солнце зашло, и бледные звезды
вышли на бледное небо.
Впрочем, это — из фрески «Вечность».

Три телевизионные программы
слышатся из трех соседних окон.
Фестиваль студенческих песен
заглушает рассуждения
престарелого музыковеда
о вреде студенческих песен,
а истошный крик футбола
заглушает и музыку и слово.

Созвездие за созвездием
ходят по небу, как положено.
Впрочем, это — из фрески «Вечность».
В подъезде большая студентка
громко целует маленького студента
и говорит: «Ты некрасивый,
но самый умный на целом свете!»

Это тоже из фрески «Вечность».

Маленькие девочки с большою силой
выплескивают маленький пруд на берег,
выкликая: «Братцы, тонем!» —
Это тоже из фрески «Вечность».
Слегка замазанная известкой,
эта фреска проступает,
даже выпирает из фрески,
именуемой: «Злоба дня».

ЗАКЛИНАНЬЕ

**Вдохновенье! Средь бела дня
найди меня, найди меня, найди меня!
Обожди меня, не обойди меня!**

**Вот я высунулся, показался,
на пути твоём оказался,
не проходи же мимо меня!**

**Я зарядку сделал. Водой
ледяной окатился.
Неотвязный, нервный, худой,
точно инвалид, подкатился,
точно на тележке, к нему:
— Эй, браток, не обойди меня!
Все отдам! Все с себя сниму!
Не пройди, не пройди, не пройди мимо меня!**

**А браток бросает пятак,
небольшую монету,
а потом говорит: — Вот так.
Для тебя больше нету.**

ЗАЛ ОЖИДАНИЯ

Это — зал ожидания. Скамейки узки, тверды.
Хочешь — ляг. Хочешь — сядь. Полежи, посиди снова.
Ожидай что положено: удачи, беды.
Потому что тебе не положено зала иного.

Это — зал ожидания. Счастья, страдания
здесь навалом, насыпом, слоями, рядами.
Влево, вправо — немедленно ступишь в рыдания,
потому что достаточно здесь нарыдали.

Впрочем, выбора, этой единственно подлинной
человеческой роскоши, — выбора нет.
В освещенной неярко и плохо натопленной,
все же в нашей судьбе есть тепло, есть и свет.

То калачиком сжавшись, то вытянув ноги,
потому что скамейка тверда, узка,
ожидаешь
с железной, железной дороги
золотого, серебряного звонка.

ОСТРОВ В НЕБЕ

За седьмым небом,
километров в тыще,
где никто не был,
даже космонавты,
плавает остров.

Это вам не спутник
и не астероид,
а совсем зеленый
небольшой остров,
с травами и речкой.

По нему бродят
лучшие поэты
всех веков и наций,
гуляют и хвалят
этот остров.

Там свежий воздух,
никакого дыма,
никакого шума:
все радиоточки
транслируют молча.

**А покуда ходят
по зелени луга,
в голову приходят
лучшие мысли
и лучшие рифмы.**

**Надо бы пробиться
сквозь обыденность.
Надо бы добиться,
чтоб туда послали
хотя бы на месяц.**

ПРОЩАНИЕ

Перрон. Провожающий машет рукою.
Вагон. Отъезжающий машет платком.
О, сколько их кончилось сценой такою,
любовей и дружб.
Сколько скомкалось в ком!

Не в такт они машут! И резким гудком
затопит, зальет, как весенней рекою,
и машущего с перрона рукою,
и машущего из вагона платком.

Забился на верхнюю полку —
простужен, устал, еле жив,
старушечку богомолку
на нижнюю уложив.

Старушечка формулы шепчет,
не действующие давно.
Пространства ревущего скрежет
настойчиво лезет в окно.

И рваное, как попаданье,
осколочное, в живот,
разгромленное преданье
в купе этом темном живет.

ЖУРАВЛИ

**Летят над нами журавли,
и мы стоим под журавлями,
как будто бы пришли под знамя,
большое знамя всей земли.**

**Они летят, словно душа
летит чужой душе навстречу.
Торжественна и хороша
жесть журавлиного наречья.**

**Связует этот перелет
ничем не связанные страны.
Не потому ли жость поет
или рычит
так дико, странно.**

**О чем курлычут, что кричат,
куда кочуют, где ночуют?
С Выг-озера к озеру Чад
летят и что-то чувт, чувт.**

**Сегодня осень осенив,
весну они увидят завтра.**

**Без раздраженья и азарта
над редкой желтизною жнив**

**летят, летят, летят, летят.
Куда хотят, туда летят.**

ПОЛУТОРКА

Автомобиль для смоленских дорог —
нерастряемый,
непотопляемый,
даже метелью
 не заметаемый,
но поспевающий всюду, как рок.

Как тебя кляли, полупорка,
как
благословляли,
когда ты спокойно,
просто
оставила в дураках
грязь и распутицу,
осень и войны!

Ты,
тарахтящая на ходу,
переезжала печаль и беду.
Ты,
рассыпающаяся на части,
переезжала тоску и несчастье,
и, несмотря на сиротскую внешность,

ты получала
раз по сто
на дню
национальную чуткость и нежность,
шедшую
в прежние годы
коню!

Можно ли оды машинам слагать?
Можно,
когда они одушевленные
и с человеком настолько скрепленные:
в топь из болота!
С гати на гать!

Где вы, полуторки прошлой войны,
нашей войны,
Великой, Отечественной?
Даже в великом
нашем отечестве
где-нибудь вы отыскаться должны.

В кузове тряся,
в кабине сидел,
с гиком
выталкивал из кювета.
Где вы, полуторки?
С вас я глядел
на все четыре стороны света!

ОДИССЕЯ

Хитрый лис был Улисс.
Одиссей был мудрей одессита.
Плавал, черт подери его,
весело, пьяно и сыто.

А его Пенелопа,
его огорчить не желая,
все ждала и ждала его,
жалкая и пожилая.

А когда устарел
и физически он и морально
и весь мир осмотрел —
вдруг заныло, как старая рана,
то ли чувство семьи,
то ли чувство норы,
то ли злая
мысль,
что ждет Пенелопа —
и жалкая и пожилая.

Вдруг заныла зануда.
В душе защемила заноза.
На мораль потянуло
с морального, что ли, износа!

Я видал этот остров,
настолько облезлый от солнца,
что не выдержит отрок.
Но старец, пожалуй, вернется.

Он вернулся туда,
где родился и где воспитался.
Только память — беда!
И не вспомнил он, как ни пытался,
той, что так зажилась,
безответной любовью пылая,
и его дождалась,
только жалкая
и пожилая.

ИТАКА

Итак, я стоял со штурманом,
а Греческие острова
плыли, почти бесшумные,
сухие, словно трава.

Кострища, пепелища,
выжженные дотла!
Жарынь огнепалящая
с них еще не сошла.

Сухие клочки Сахары,
пустые обломки пустынь!
К чему эта глина сухая?
Зачем ей вечная синь?

Но судно срезало угол,
штурман точно взглянул,
то ли вслух подумал,
то ли громко шепнул:

— Итака!

Сколько он мне напомнил
в зоне сухого огня!

Я его сразу понял,
тотчас он меня:

— Итака!

Приписанные к Одессе
или к любому порту,
приписаны мы к Итаке,
знаем ее высоту.

О вечный образ дома,
исконный приют стиха!
Морской волной несомая
сухая твоя шелуха,

Итака!

Твою золотую половицу
не сдул ни один ураган.
Второй Эпопеи Слово
бушует на страх врагам:

Итака!

И чувствами теми большими
внезапно поражены,
гекзамером бьют машины,
иначе они не должны

в виду Итаки.

ТОЛСТЫЕ КНИГИ

**За мгновенье до гибели ковырять в словаре,
проверять дотошно и зорко,
чтобы все на вечерней заре,
как на утренней было зорьке,
и, по склону катясь
или рушась с горы,
завершая последние строки,
вспоминать афоризмы,
что были остры,
и цитировать дивные строки!**

**Жизнь под лампой настольной,
за крепким столом,
через Книги — навывлет,
стремглав,
напролом,
где событие — мысль
и несчастье — мысль,
где от книг
и любви тектонический сдвиг,
и поступки,
и даже улыбки.
Все от них,
от блаженных и пылких вериг,
все решенья, свершенья, ошибки.**

Дней страницы листая,
одну за другой,
год за годом,
как том за томом.
Это было и страсти ревущей пургой,
и надежным оплотом,
и домом.

За мгновенье до гибели уточнять,
и на чью-то небрежность ревниво пенять,
и обвала крови не умея унять,
вдруг какую-то толстую книгу ронять.

ПЕРЕД ВЕЧЕРОМ

Еще и звезды не зажгли!
Еще планеты не включили,
еще луну не волочили
в небесной призрачной пыли!

Но день уже сникает, вянет:
он выдохся за целый день.
Он увеличивает тень
и уменьшать ее не станет.

И тень густеет, как раствор
цементный,
и отвердевает,
хладеет
и охладевает,
зовется ночью с этих пор,
и звезд далекий разговор
внезапно душу задевает.

КАК СМОТРЕТЬ НА НОЧНОЕ НЕБО

Созерцанье неба звездного,
чем-то громкого и грозного,
чем-то тихого до слез,—
человечней, проще, лучше
без опознаванья звезд,
без вникания в детали,
та звезда или не та ли.
Все забудь
и слушай,
слушай
перемалчивание звезд.

БЕЛЫЕ РУКИ

С мостков,
 сколоченных из старой тары,
но резонирующих на манер гитары,
с мостков,
 видавших всякое былье,
стирала женщина белье.

До синевы
 оттерла фиолетовый
и добела
 отмыла голубой
и на мостках стояла после этого,
в речонке отражаясь головой.

Ее цвета цвели, словно цветы,
вдыхали в душу сладкое смятенье,
и удвоила речка
 красоты
невиданной
 исподнее и тельное.

Казалось, что закат затем горит
и ветер нагоняет звезды снега,

чтоб освещать и стирки древний ритм,
и вечный ритм
течения речного.

Над белой пеной мыла,
белой пеной
реки,
белея белизною рук,
она то нагибалась постепенно,
то разгибалась вдруг.

Белели руки белые ее,
над белизной белья белели руки,
и бормотала речка про свое:
какие-то особенные звуки.

★ ★ ★

Кони бегут под закатом,
птицы летят сквозь закат.
Тихоньким музыкантом
вечер играет кант.

Сквозь приглушенный топот
слышен крыльев плеск,
и шелестящий тополь,
и звонящий блеск
звезд,

зубцами сцепляющихся
точно над головой
и потом устремляющихся
прямо по кривой.

ГРЯЗНАЯ ЧАЙКА

Гонимая
 передвиженья зудом,
летающая
 здесь же, недалеко,
чайка,
 испачканная мазутом,
продемонстрировала
 брюшко.

Все смешалось: отходы транспорта,
что сияют, блестят на волне,
и белая птица, та, что распята
на летящей голубизне.

Эта белая птица господняя,
пролетевшая легким сном,
человеком и преисподнею
мечена:
черным мазутным пятном.

Ничего от нас не чающая,
но за наши грехи отвечающая,

**ВОТ ОНА,
ВОТ ОНА,
ВОТ ОНА,
НАШИМ ПЯТНЫШКОМ ЗАЧЕРНЕНА.**

ГОСТИНИЦА

Смотрит телевизор ревизор.
День-деньской — ревизовал.
Вечером решил писать обзор,
но балет заинтересовал.

Крепкие, словно чифирь,
балерины и балеруны,
выгоняют из души чифирь.
Форточку бодает рог луны.

Хорошо в гостинице. Ушла
молодежь, наверно, танцевать.
Музыка внезапно повела —
радоваться или тосковать.

Карамели скомканный кулек.
Дом далек,
хоть и выправлен туда билет.
Плавает по воздуху балет.

Все мелодии, а счетом — пять,
что запомнились за жизнь ему,
повторяет ревизор опять,
глядя то балет, а то во тьму.

И хотя пора как будто спать,
неожиданно обострены
чувства все. Их счетом тоже пять.
Форточку бодает рог луны.

Луч луны танцует на стене.
Молодежь танцует на селе.
А балет танцует при луне,
в гнутом телевизорном стекле.

Позабыв про годовой отчет,
про баланс и про проект,
в номер ревизор идет,
делая ногою пируэт.

СОСЕД

Пепел стряхивает в ладонь.
Пояс стягивает булавкой.
Но в глазах у него — ледынь.
Он еще молодой и ловкий.

Он еще свое возьмет.
Он еще прихватит чужое.
Еще пчелы со всей душою
принесут ему свой мед.

А пока он хмур, поджар
и весьма далек от веселья.
И на нем чужой пиджак,
как на вешалке, отвиселся.

Я БЫ, Я БЫ!

Супруг похож на супругу:
похожи друг на друга
прожившие полстолетья
так и настолько дружно,
что, кроме друг друга,
им ничего не нужно.

Только бы обнаруживать друг друга рано утром,
старыми, слабыми, больными, но живыми!
В бренном существовании, трепетном и утлом,
слушать, как друг воркует
друга другого имя.

В этом существовании,
похожем на воркование
двух соседних сосудов,
радостно сообщающихся,
в звонкой этой гармонии
молота с наковальнею,—
все у них вместе, разом, дружно и сообща еще.

— Я бы,—скажет старуха,— вот что сегодня сварила!
— Съем,— говорит,— с удовольствием. Это будет
красиво!..

Что бы она ни варила, что бы ни говорила,
кушает, и слушает, и говорит: «Спасибо!»

**«Ты бы, ты бы...»— слышится,
если семейство не дружно.
В этом дружном семействе
слышится: «я бы, я бы...»
Им, кроме друг дружки, ничего не нужно.
Все бы разливались старенькими соловьями!**

НОЧЬ

**Не глушь, а слепь.
Не темь, а пустота.
Где глубина, где высота,
где долгота, где широта—
не разберешь: ни вехи, ни отметки,
и в небесах ни Альфы, ни Омеги,
и на земле не больше, ни черта.
Молчание. Мир словно черный кладезь.
И это — на окраине Москвы!
Часы ручные, как ручные львы,
режут с руки, что с вечностью не сладишь.**

КИРПИЧОНОК

Кирпичонок, обточенный морем,
до печенок
 в соленом проморен,
в горьком
 вымочен
 до печенок,
морем
 выброшен
 кирпичонок.
Был ты домом,
 может, богатым,
стал ты комом,
 круглым, покатым,
стал ты камнем,
 добился цели.
Все мы канем,
 выплывем все ли.
До сих пор
 меня не устали
тешить серии:
 были — стали.

ЛУЧШЕ БЫТЬ МОЛОДЫМ

Человек поверяется холодом или жарой,
в сорок градусов выше и ниже нуля,
и еще облепляющей весь горизонт мошкаррой,
и еще духотою, бездушною, словно петля.

Закипает и превращается в пар,
загорается и превращается в дым
ваша стойкость, по методу пан и пропал,
и поэтому лучше быть молодым.

Двадцать градусов лишних он выдержит — не пропадет.
До костей он промокнет, но все ж не до самых костей.
А сгоревши дотла, он восстанет и снова пойдет
и гостей позовет!
Напоит и накормит гостей!

Лучше быть молодым!
Все, кто может,— спасайся, беги
в ту страну, где легчайшая юность чеканит шаги!

2



ОТЕЦ

— Коли меня, дочка! — сказал отец.—
Коли меня хорошо.
— Я буду тебя хорошо колоть,—
ответила сестра.
Игла преодолела плоть,
вялую вену нашла.
Вот так и наступил конец
в полвосьмого утра.

Ему так хотелось: дочитать
газеты за этот век,
выглядывать по утрам в окно,
а днем ходить в кино.
Он годы свои не любил считать,
поскольку слаб человек.
Зато он очень любил вспоминать
о том, что было давно.

О том, что было давно,— вспоминать.
О том, что будет вскоре,— гадать.
На рынке — мятость рублей менять
на плодоовощную благодать.

Все то, что близко и далеко,
газеты ему приводили на суд,

и стариковство он нес легко,
как только легкую юность несут.

Так чем же был счастлив, чему же рад
среди ежедневных своих зыбей,
болезней старческих конгломерат,
скудельный сосуд обидных скорбей!

Он говорил: «У меня сыновья,
и дочь, и двое внучат.
Они закончат, что начал я,
что не успел начать».

Он хлебу был благодарен за то,
что дешев он так давно,
и демисезонному пальто,
и широкоэкранному кино.

Кончается погожий день —
любил он такие дни.
Вытягивается большая тень.
Затеплились огни,
а я продумываю до конца
уроки моего отца.

ДАВНЫМ-ДАВНО

Еще все были живы.
Еще все были молоды.
Еще ниже дома были этого города.
Еще чище вода была этой реки.
Еще на ноги были мы странно легки.

Стук в окно в шесть часов,
в пять часов
и в четыре,
да, в четыре часа.
За окном — голоса.
И проходишь в носках в коммунальной квартире
в город, в мир выходя
и в четыре часа.

Еще водка дешевой была. Но она
не желанной — скорее, противной казалась.
Еще шедшая в мире большая война
за границую шла,
нас еще не касалась.

Еще все были живы:
и те, кого вскоре
ранят; и те, кого вскоре убьют.

По колено тогда представлялось нам горе,
и мещанским тогда нам казался уют.

Светлый город
без старых и без пожилых.
Легкий голод
от пищи малокалорийной.
Как напорист я был!
Как уверен и лих
в ситуации даже насквозь аварийной!

Ямб звучал —
все четыре победных стопы!
Рифмы кошками под колеса бросались.
И поэзии нашей
 шальные столпы
восхитительными
 похвалами
 бросались.

ВЕЛОСИПЕДЫ

Важнее всего были заводы.
Окраины асфальтировали прежде,
чем центр. Они вели к заводам.
Харьковский Паровозный.
Харьковский Тракторный.
Харьковский Электромеханический.
Велозавод.
«Серп и молот».
На берегу асфальтовых речек
дымили огромные заводы.
Их трубы поддерживали дымы,
а дымы поддерживали небо.
Автомобилей было мало.
Вечерами
мы выезжали на велосипедах
и гоняли по асфальту,
лучшему на Украине,
но пустынному, как пустыня.
Столицу
перевели из Харькова в Киев.

Мы утешались тем, что Харьков
остался промышленною столицей
и может стать спортивной столицей
хоть Украины, хоть всего мира.

В ход пошли ребята с окраин,
здоровенные,
 словно голод
обломал об них свои зубы.
Вечерами, когда машины
уезжали, асфальт оставался
в нашем безраздельном владенье.
Темп давал Сережка Макеев.
В школе он продвигался тихо.
По асфальту двигался лихо.
Мы, отчаявшиеся угнаться
за Сережкой,
не подозревали,
что он ставит рекорд за рекордом,
сам того не подозревая:
на часы у нас не было денег.
Прыгнув на седло,
 спокойно
оглядев нас,
 он обычно
говорил: даю вам темпик!
Икры, как пивные бутылки.
Руки, как руля продолжение:
от подметок и до затылка
совершенный образ движенья.
Только мы его и видали!

Он в какие-то дальние дали
уносился, как реактивный.
Темп давал Сережка Макеев.
Где он, куда же он умчался,
чемпион тридцать восьмого
или тридцать девятого года?

Промельк спиц его
на солнце
слился во второе солнце
и, наверно, по небу бродит.
Руки в руль впились, впаялись.
Линия рук и линии машины
соединились в иероглиф,
обозначающий движенье.
Где ты, где ты, где ты, где ты,
чемпион поры предвоенной?
Есть же мнение, что чемпионы
неотъемлемо от чемпионатов
уезжают на велосипедах
на те прекрасные склады,
где хранятся в полном порядке
смазанные солидолом годы.

* * *

Солоно приходится и горько.
Жизнь — как черноморская вода.
Слышу, тонущий товарищ: «Борька!» —
криком мне кричит, как и тогда.

Он захлебывается. Он бы плакать
стал. Но не хватает сил.
Оба не умеем плавать —
я и тот, кто помощи просил.

Как мы далеко тогда заплыли!
До чего там было глубоко!
До чего нам не хватало прыти!
До чего нам было нелегко!

Горького с соленым перепившись,
наглотившись на всю жизнь,
этот черновик не перепишем:
сколько можешь, на воде держись!

Сколько можешь, слушай крики друга
и плыви на помощь, не зевай
и уже слабеющую руку,
сколько можешь,
подавай!

ЛЮБОВЬ К ПОНОШЕННЫМ ВЕЩАМ

Люблю донашивать старье.
Оно — мое.
Оно со мною просмотрело
такие сны, такую явь,
прошло всю жизнь то вброд, то вплавь
и, не отказываясь, грело
и грустно прикрывало стыд,
а в светлый день само светлело.
На мне, со мной оно истлело.
В утиль? Нет, сердце не простит!

О, нет! Не изменю привычке!
Что, если перелицевать,
прикуривать от черной спички
и вновь от печки танцевать?
Давно газеты сожжены,
журналы розданы знакомым,
но память, по ее законам,
мы на плечах носить должны.

* * *

Воспоминания — позолота,
а память — свиная кожа.
Воспоминания оботрутся,
а память остается.

Остается память тела,
что летело, куда хотело,
как с него бы ни облетали
воспоминания детали.

Остается память воли,
а конкретные как там, что там
рассыпаются в Диком Поле,
по его долготам, широтам.

Все оркестры земли покрывая
звуком неумолчного воя,
воет память буревая,
завывает свое, мировое.

САЛЮТЫ

Война и часа в сутки не дает,
есть на ходу,
спать на бегу
заставит,
рубля не платит,
в грош не ставит,
убьет, засыплет и не отпоет.

Но та же самая война,
бывало, в отпуска нас отпускала,
светила солнцем, ветерком ласкала,
как в мирные былые времена.

Фронт проходил в то лето по Днестру,
и дважды в сутки на передовую
старшины привозили по ведру
сладчайшей вишни — спелую, живую.

Светило солнце, веял ветерок,
у немцев что-то будто надломилось.
Неумолимый к нам так долго рок
свой гнев уже переменял на милость.

В штабном старообрядческом селе,
на площади его базарной,

заливисто и молодо-азартно
гремело радио, как бы навеселе.

И вот сперва в день раз,
а после дважды,
вскорости же трижды,
потом четырежды,
потом пятижды
неторопливый, важный шел рассказ.

Гремел салют.
Шумливый люд штабной
бросал свои чернильницы и карты.
Отделы шифров и отделы кадров,
все, порожденное большой войной,

бросалось к окнам.
Слушали салют,
записывали имена и цифры.
Казалось, даже мертвые встают,
не только люди, кадры или шифра.

Гремел салют, шумела канонада
счастливая. Ревел, как майский гром,—
надеждой и свободой и добром.
Победой. Больше ничего не надо.

Гремел салют.
И с каждым днем все чаще.
Все громче.
Слушали, потом по хатам шли,
и шумно деревья в садах трясли,
и спелой вишней заедали счастье.

МОРОЗ

Совершенно окоченелый
в полушерстяных галифе,
совершенно обледенелый,
сдуру выскочивший
на январь налегке,
неумелый, ополоумелый,

на полutorке, в кузове,
сутки я пролежал,
и покрыл меня иней.
Я сначала дрожал,
а потом — не дрожал:
ломкий, звонкий и синий.

Двадцать было тогда мне,
пускай с небольшим.
И с тех пор тридцать с лишком
привыкаю к невеселым мыслишкам,
что пришли в эти градусы
в сорок,
пускай с небольшим.

Между прочим, все это
случилось на передовой.

До противника — два километра.
Кое-где полтора километра.
Но от резкого и ледовитого ветра,
от неясности, кто ты,
замерзший или живой,

даже та, небывалая в мире война
отступила пред тем,
небывалым на свете морозом.
Ну и времечко было!
Эпоха была!
Времена!

Наконец мы доехали.
Ликом курносым
посветило нам солнышко.
Переваливаясь через борт
и вываливаясь из машины,
я был бортом проезжей машины —
сантиметра на четверть —
едва не растерт.

Ну и времечко было!
Эпоха была!
Времена!
Впрочем, было ли что-нибудь
лучше и выше,
чем то правое дело,
справедливое наше,
чем Великая Отечественная война?

Даже в голову нам бы
прийти не могло
предпочесть или выбрать

**иное, другое —
не метели крыло,
что по свету мело,
не мороз,
нас давивший
тяжелой рукою.**

ФРОНТ ПРОХОДИЛ ПО ГЖАТСКОМУ РАЙОНУ

— Ну, поехали! —
скажет Гагарин
век спустя.

Выхожу на орбиту.
Голова у меня обрита.
В сапоги мои ноги вбиты.
Нашагавшись до упаду
по военным дорогам нервным,
прикрываюсь от звездопада
грубоватым сукном шинельным.

Вот он — я!
А вот — мирозданье!
Вот он — я!
Вот — моя отчизна.
После выполненного задания
на душе свободно и чисто.

Молодые мои командиры
мне дают такие приказы!
Вплоть до победоносного мира
им ни в чем не будет отказа.

Пожилые мои комиссары
мне читают такие сводки!
Тучи, те, что в них нависают,
долетели до Дона и Волги.

— Ну, поехали! —
вечность с лишком
так Гагарин начнет свое чудо.

А покуда нашим мальчишкам
под германцем в деревне худо.

Толстой ниткой,
суровой струною,
ниткой, выпряденной войною,
под стальной зимней луною
фронт натянут меж ним и мною.

Если эта нить оборвется,
если лопнет струна, откажет,
в космос он никогда не ворвется,
— Ну, поехали! —
вовсе не скажет.

НАШЕЛ!

**Большой войны настоящий конец,
вот он! Вижу его в лицо.
Происходит обмен обручальных колец,
кольцо на кольцо.**

**Уже грядущего века солдат
аккуратно зачат,
уже пятый месяц тихо живет
и круглит невесте живот.**

**Уже отгулял жених свое
и шинель в костюм перешил.
Вот он: все житье и бытие
в этот миг опять пережил.**

**Машку, которую до войны
в школе за косу он таскал,
расписать сегодня с ним должны:
он ее отыскал.**

**Отыскал в полуголодном селе,
на родной бескрайней земле,
в человечестве!
В мире после войны!
Их теперь расписать должны.**

**Макай, секретарь сельсовета, перо
в небо, в голубизну!
Им теперь делить беду и добро,
высоту, глубину!**

**Записанные в книгу судеб,
усаживаются за стол,
преломляют пеклеванный хлеб:
он ее нашел!**

ПОСЛЕВОЕННЫЙ ШИК

Все принцессы спят на горошинах,
на горошинах,
без перин.
Но сдается город Берлин.

Из шинелей, отцами сброшенных
или братьями недоношенных,
но — еще ничего — кителей,
перешитых, перекореженных,
чтобы выглядело веселей,
создаются вон из ряду
выдающиеся наряды,
создается особый шик,
получается важная льгота
для девиц сорок пятого года,
для подросших, уже больших.

— Если пятнышко, я замою.
Длинное — обрезать легко,
лишь бы было тепло зимою,
лишь бы летом было легко...

В этот карточный и лимитный
год
не очень богатых
нас,

**перекрашенный цвет защитный,
защити! Еще хоть раз.**

**Вещи, бывшие в употреблении,
полинявшие от войны,
послужите еще раз стремлению
к красоте.**

**Вы должны, должны
посуществовать, потрудиться
еще раз, последний раз,
чтоб смогли принарядиться
наши девушки**

в первый раз!

ПЛЯЖИ СОРОК ШЕСТОГО ГОДА

Раны затягиваются, зарастают,
но шрамы — не прошлогодний снег:
даже под южным солнцем не тают,
даже на пляже ясны для всех.

Товарищ, на пиджаке — по планкам,
на пляже — по затянувшимся ранкам,
я у тебя, ты у меня,
тихо — так мы предпочитаем —
без объяснений прочитаем
летопись эпохи огня.

Ты, приседающий с подскоком
и брюшной развивающий пресс,
как там,
штыком или осколком?
Покажи.
У меня интерес.

Мы еще молодые и ранние.
Нам по три года до тридцати.
Но — на носилках — повторно раненные
и разбомбленные в пути.

Когда на три года война затягивается
и — четвертый потом возник,
шкура солдатская затягивается
сетью слепых,
сетью сквозных.

У табакура,
у бедокура,
у балагура
почти на треть
изрешеченная сталью шкура.

На свет лучше ее не смотреть.
Так, под мерный поход прибоя,
мы друг на друге читать должны
клинопись недавнего боя,
иероглифы этой войны.

ЧИСТОТА

Много лет я прожил без денег —
как диктатор или бездельник,
словно гений или монах:
наг и благ.

Чисто было в дыму и гари.
Чистоту души сберегали
белый снег, сырая земля,
полная бесплотность рубля.

Под ружейным и пулеметным
становился рубль бесплотным
и еще тощал с каждым днем
под артиллерийским огнем.

Всеи зарплаты моей огромной
и солдатской — довольно скромной —
не хватало на одеколон.
Мне — на литр. Ему — на флакон.

Вызывал каскады восторга
автомагазин Военторга,
где журчали духов роднички
и белели подворотнички.

Остальное все было бесплатно.
Было — не было. Есть, и ладно.
Если не было ничего,
это тоже ничего.

От пиров картошкой печеной
или — вдруг — морошкой моченой
и от кулинарных острот
все насчет колбасы «Второй фронт»

стал я тощ, прозрачен, легок,
но при этом ничуть не робок.
Стал я бледен, застенчив не стал.
Перед смертью не трепетал.

Чисто было на сердце. Пусто
в вещмешке. Трещала капуста
в медной кухне у старшины.
Так — в течение всей войны.

И не голод, недоеданье
перешли с войною в преданье,
а особая легкость и та
небывалая чистота.

* * *

Я был человек его века.
Я был человек его круга.
Для этого человека
я был наподобие друга.
Я был наподобие брата,
и этому нету возврата.

Я строчкою вписан в книги,
в бумажные врезан скрижали.
С ним происходившие сдвиги
меня непременно сдвигали.

Мы вместе тонули. Вместе
мы выплывали едва.
Я знал, что на должном месте
будет его голова.

А кто и о ком напишет
такой, как этот, стих,—
не думал, пока он дышит,
покуда совсем не стих.

ВОСПОМИНАНИЕ О ДРУЖБЕ

**А я-то думал — просто цель накрыл,
предполагал, что в яблочко попал,
и не расслышал шелест чудных крыл,
а он прошелестел и вдруг пропал.**

**А я-то думал: поразил мишень.
В ученье тяжко, но легко в бою.
Он до сих пор отбрасывает тень
на жизнь мою.**

**Я до сих пор живу в его тени,
отброшенной легко и невзначай.
А я располагал: билет тяни
и выигрыш немедля получай.**

ПЕВИЦА

**Огромная, как белуга,
поставленная на хвост,
стихи покойного друга
пропела она во весь рост.**

**Певица. Ее рулада —
дебела, крута, кругла.
Но в то же время крылата
эта певица была.**

**По-рыбьи глаза смотрели.
Вздымало кофту брюшко.
Потусторонние трели
она выводила легко.**

**Как жаворонок от зноя,
захлебывалась она,
и вся синева с белизною
была ею превзойдена.**

**И золото все июля
и все серебро января
к ней струны свои протянули,
образно говоря.**

**И ротик она разевала,
коротенький ротик свой,
но из мирового развала
творила лад мировой.**

ПЕСОК

То, что в дочке не проявилось
и, казалось, в песок ушло,
вдруг внезапно во внучке явилось,
ошарашило, обожгло,—
это гневное глаз сверканье,
это всех кумиров сверганье,
этот головы поворот
и надменно стиснутый рот.

Слушай, девочка на песочке
на писательском пляже в Крыму!
В многоточья последней точке,
может, виделась ты ему.
Ты игрушку сейчас отложишь,
ты подружку столкнешь со скамьи,
ты не знаешь и знать не можешь,
что любые ухватки твои
повторяют верно ухватки
не вернувшегося из схватки
и уткнувшегося в песок
с пулей, врезавшейся в висок.

угол

Вот я в снятом за небольшие
деньги
 небольшом углу.
Здесь пишу стихи от души я
и гляжу в оконную мглу.

Много позже
 четвероугольный
номер
 в новой гостинице сняв
и тяжелые шторы подняв,
огляжу я пейзаж законный,
возвышающий душу и нрав.

Но покуда в моем квадрате
три угла у старухи Кати,
а в четвертом, правда, с окном,
я согбен за столом, как гном.

«Это все изменится вскорости!» —
я мечтаю, устав от всего.
Много надо нашей молодости,
кроме молодости?
Ничего.

Как скрипят старухи, как стонут!
Задышаются, словно тонут!
Счеты сводят какие во сне!
Все отчетливо слышно мне.

Я в бюджете ее таинственном,
как я там ни сир и ни наг,
числюсь главным,
почти единственным,
основным
источником благ.

Утром Катя чаек вскипятит,
чаю мне вскипятит, себе — кофею.
Глядя грустно на мой аппетит,
разовьет свою философию.

Опыт свой обобщает старуха
и советы мне сдуру дает.
Я внимаю ей в четверть уха:
ямб во мне сейчас запоем.

АНАЛИЗ ФОТОГРАФИИ

«Это я, господи!»

Из негритянского гимна

Это я, господи!
Господи — это я!
Слева мои товарищи,
справа мои друзья.
А посередке, господи,
я, самолично — я.
Неужели, господи,
не признаешь меня?

Господи, дама в белом —
это моя жена,
словом своим и делом
лучше меня она.
Если выйдет решение,
что я сошел с пути,
пусть ей будет прощение:
ты ее отпусти!

Что ты значил, господи,
в длинной моей судьбе?

Я тебе не молился —
взмаливался тебе.
Я не бил поклоны,
не обидишься, знал.
Все-таки, безусловно,
изредка вспоминал.

В самый темный угол
меж фетишей и пугал
я тебя поместил.
Господи, ты простил?

Ты прощай мне, господи:
слаб я, глуп, наг.
Ты обещаю мне, господи,
не лишай меня благ:
черного теплого хлеба
с желтым маслом на нем
и голубого неба
с солнечным огнем.

Полцарства отдавал я за коня,
а больше не бывало у меня,
а больше чем полцарства — не бывало.
Да большего он и не стоил, конь.
Он уносил, но не от всех погонь,
он прыгал, но не через все завалы.

ЖАЛКИЕ ПЛЯСКИ

**Это так же смешно, как старик,
делающий зарядку на пляже:
рассчитавшись на первых-вторых,
он подпрыгивает и пляшет.**

**Как бы тщательно он ни плясал,
с ходом времени яростно споря,
как бы дерзостно он ни влезал
по колено в холодное море,—**

**все равно это просто смешно,
и при этом не только недавно,
а давно, даже очень давно.
Только, может, смешнее с годами.**

**Он, возможно, большого ума,
жизнь его, говорят, эпопея,
но бывает, и мудрость сама
пляшет сдуру, внезапно глупея.**

**Нам бы надо его обойти,
в стороне и в тени чтоб остаться
и чтоб судорожному танцу,
жалкой пляске не встать на пути.**

* * *

Суетился перед природой.
Лицемерил. С кем? Со звездой.
И весне, травую проросшей,
льстил.
А был такой молодой.

Ровный с самым большим начальством,
перший часто против рожна,
разорваться готов был на части
оттого, что взошла луна.

ПАР И ДУША

Пар под очень большим давлением
превращается в душу,
оживляя своим появлением
бездыханную тушу,
то ли радостью, то ли горем
ей глаза наливая,
а казалось, ее над морем
высота — нулевая.

Горе некоторых изувечит,
доконает, прикончит,
а других очеловечит —
кто как сможет и как захочет.
А от радости — толку мало —
выпьешь, закусишь,
повторишь еще без обмана,
удила закусишь
и отмякнешь, размокнешь
и ленью
пропитаешь каждое слово,
и душа,
лишившись давленья,
станет паром обычным снова.

БЕЗ НЕРВОВ

Родители были нервные,
кричащие, возбужденные.
Соседи тоже нервные,
угрюмые, как побежденные.
И педагоги тоже
орали, сколько могли.
Но, как ни удивляйтесь,
мне они помогли.

Отталкиваясь от примеров
в том распорядке исконном,
я перестал быть нервным,
напротив, стал спокойным.
Духом противодействия
избылась эта беда:
я выкричался в детстве
и не кричу никогда.

ОДНА САТАНА

Как болт с гайкой, со мной совпади,
попади нарезом в нарез,
а не хочешь, так прочь поди,—
если так, не большой интерес.

Прибыль невелика от ссор,
навсегда решай — ты со мной?
Даже если мы оба — сор,
пусть сметут метлой одной.

Даже если мы оба — мир,
он на полумиры не делим.
И, в отличие от квартир,
разменять мы его не хотим.

Будь со мной, со мной, со мной,
а я буду с тобой, с тобой,
нераздельной, единой, одной
долей ли, судьбиной, судьбой.

• • •

Слышал — наслышкой,
видал — наглядкой,
с той приблизительностью гадкой,
с которой спросу и не спросишь
и воздаянья не дождешься.
Подумаешь — и вовсе бросишь,
забудешь, спишешь, обойдешься.

Любовь, если приблизительна,
обидна и унижительна.

ПЛАТОН

Стали много читать Платона.
Любят строй драматических глав.
После выхода каждого тома
выкупает подписчик стремглав.

Интересно, помогут ли совести
эти споры античных времен,
эти красноречивые повести —
те, что нам повествует Платон.

Скоро выяснится. А покуда
мы не знаем еще:
причуда,
хобби,
красного ради словца,
что дороже родного отца,

или этот старинный философ,
всех томов его полный объем,
отвечает на пару вопросов —
тех,
что мы себе задаем.

СУДЬБА МОНАКО

**Для прохождения истории
необходима география,
необходима территория,
и разнолесье, и разнотравье.**

**А как же поступить, однако,
с уютным, милым, незаметным,
с Великим княжеством Монако,
с его квадратным километром?**

**Пускай рулетке предается
оно
в любое время суток,
в историю же — не суется,
история — не для малюток.**

**А ежели со всей душою
в историю Монако метит?
Пусть отвечает, как большое.
Большую кровью пусть ответит.**

ДЕРЕВЬЯ

Деревья живут без спроса,
умирают без стога,
преображая прозу
в песнь золотого тона.

Замедленные на столетья
взрывы, то есть деревья,
преобразят лихолетье
в пенье, в оперенье,

в общежитие птичье,
в дивное разноголосье.
Лихолетье — в величье,
словно назём — в колосья.

Древо стремится к небу
и его достигает.
От работы к хлебу
его никто не тягает.

От всего на свете —
это способ древний —
можно отворотиться
и посмотреть на деревья.

* * *

У всех мальчишек круглые лица.
Они растягиваются с годами.
Луна становится лунной орбитой.

У всех мальчишек суровые души.
Они размягчаются с годами.
Яблоко становится печеным,
или мороженым,
или тертым.

У всех мальчишек огромные планы.
Они сокращаются с годами.
У кого — немного.
У кого — много.
У самых счастливых — ни на йоту.

ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Своими деревянными ногами
перебирает деревянный конь,
но не пространство в ярости погонь,
а клавиши в осточертевшей гамме.

Хорошенькому мальчику в седле
преподана бессмысленность движенья,
и так нетрудно это постиженье
на вбитой в небо, словно гвоздь, земле.

Не оборачивается! Не летит!
Куда лететь? Вокруг чего крутиться?
И мальчик понимает, что рутину
подстережет и отомстит.

Две пары лакированных копыт,
и кажется, движение кипит.
Кипит, кипит и выкипеть не может.
И мальчика сомненье гложет.

ПРОВЕРКА

**Щенок гоняется за воробьем,
но воробей ему не поддается,
и вместе с птицей над щенком смеется
вся сложность мира,
весь его объем.**

**Мироустройство знает, что щенок
охрипнет, взмокнет и собьется с ног,
устанет, выдохнется и умается,
но воробей проклятый не поймается.**

**Под солнцем южным, на большом ветру
щенка гоняют, воробья гоняют,
проигрывают
в энный раз
игру,
до энной доли
что-то уточняют.**

ГОЛУБЬ И ГРУЗОВИК

Не оглядываясь,
отлетает
голубь
перед грузовиком.
Как он в небесах ни витает —
понимает земной закон,
знает он земные порядки,
не желает чинить препон,
и поэтому
без оглядки
отлетает
в сторонку он.

В комнате без занавесок
с белой пустыней стен
свет особенно резок,
слишком режуща тень.

Комната открывает
взглядам
 стол и кровать
и ничего не скрывает —
ничего ей скрывать.

Испещрены обои
путаницею следов,
темной и рябою:
это прошла любовь.

Это содраны фото.
Это клея потек.
Словно прошла пехота,
не вытирая ног.

Выдраны с мясом гвозди,
ветром объем продут.
Скоро новые гости
в комнату эту придут.

ЦВЕТНОЕ БЕЛЬЕ

Белье теперь не белое.
Оно — разноцветное.
И рваное и целое,
по всем дворам развешанное,
оно — не белоснежное,
не стая лебедей.
Белье теперь смешанное
у нынешних людей.

Старинная знакомая
мне рассказала как-то,
конечно, пустяковые,
но, между прочим, факты.
В том городишке, где она
работала давно,
белье смотреть ходили,
когда не шло кино.

— И что ж, вам было весело?
— Да, в общем, потрясающе.
Директорша развесила
свои чулки свисающие.
Врачихины заплаты
журчали, как ручей,

о том, что зарплаты
нехватка у врачей.

А белая сорочка
как будто в небе плавала.
А черная сорочка
являла облик дьявола.
А майки и футболки!
А плавки и трусы!
А складки и оборки
изысканной красы!

Две старые рубахи
заплаты открывали.
Как старые рубахи,
махали рукавами.
Одна была вязкозная,
другая просто синяя,
одна была роскошная,
другая просто стильная.

Поселок невеселый
без полуфабрикатов,
без разных разносолов —
поселок Африканда.
Лесистые болота,
тяжелая работа,
нелегкое житье.
И вдруг — белье!

И вдруг — все краски радуги.
Душа, пожалуйста, радуйся!

**И мне понятно, ясно
житье, бытие, былье
и почему прекрасно
висящее белье.**

ФОМИНИШНА

И потроха, как потроха.
И требуха, как требуха.
А кости третьей группы
не настоящие мослы,
а что канатные узлы,
безвкусные и грубые.

Перестояв за ними час,
Фоминишна ругается.
Она предупреждает нас,
что покупать закается.
Но никуда не денется
и завтра — погляди —
иголкой снова вденется
в нить той очереди.

Она на завтра ждет гостей,
а встретить их по-божески —
не обойдешься без костей,
чтоб холодца побольше.

И потроха, как потроха.
И требуха, как требуха,
но если будут гости —
необходимы кости.

★ ★ ★

Оскорбление преувеличило,
подчеркнуло и закавычило
недостатки мои и грехи.
После этого мне приспичило
отряхнуться от шелухи,
чепухи, ерунды, трухи.

Ужасаясь или отчаясь,
от удара еще качаясь,
словно грохнутый кирпичом,
я с макушки до пят облучаюсь
этим черным грязным лучом.

Выясняется, что я выдюжил,
что я выстоял, что я выдержал
испытания на плевков
и счастливый билетик вытащил.

А сначала думал: «Не смог!»
Нет, оказывается, смог.

* * *

То, что это все,— не сахар,
то, что это все,— не мед,
распознает и не знахарь,
а любой дурак поймет.

Ну и что же, разве боль,
разве горечь, разве соль
хуже? Если скажешь: хуже,
значит, точно сядешь в лужу.

И полынь-трава — трава.
И разрыв-трава — трава.
Впрочем, это все слова.
Да. Слова. Слова. Слова.

МУДРОСТЬ ТЕЛА

Понимает тело, что положено
понимать ему,
а поэтому,
а потому —
с телом нужно только по-хорошему.

Понимает тело, где напрячься
и расслабиться когда.
От его запросов — и не прячься!
А с его запретами — беда!

Мышцы умные
и кости мудрые
действуют толково, не спеша.
Так, как сердце разумеет утро,
разве может понимать душа?

Разве разумом уразумеешь
солнце,
так,
как кожей ощутишь,
и как пальцами мороз замеришь,
как всем костяком услышишь тишь?

Звон,
в ушах моих звонивший славой,
шум,
бушующий в моей крови,—
время,
это ты!
Благослови
плоть счастливую,
а дух мой слабый,
если хочешь,—
вовсе отзови!

★ ★ ★

Все тяжелей отягощает тело
все более легчающую душу.
Все медленнее гонит, все ленивей
слабеющее с каждым годом сердце
густеющую с каждым годом кровь.
И только оттого, что ноги трудно
таскать,
 ступает величаво старость.
И только потому, что думать тяжело,
неторопливы мы в своих ответах.
И некуда спешить затем, что нечем.

ВЫБОР

Выбор — был. Раза два. Два раза.
Раза два на моем пути
вдруг раздваивалась трасса,
сам решал, куда мне пойти.

Слева — марши. Справа — вальсы.
Слева — бури. Справа — ветра.
Слева — холм какой-то взвивался.
Справа — просто была гора.

Сам решай. Никто не мешает,
и совета никто не дает.
Это так тебя возвышает,
словно скрипка в тебе поет.

Никакой не играет роли,
сколько будет беды и боли,
ждет тебя покой ли, аврал,
если сам решал, выбирал.

Слева — счастье. Справа — гибель.
Слева — пан. Справа — пропал.
Все едино: десятку выбил,
точно в яблочко сразу попал.

Раза два. Точнее, два раза.
Раза два. Не более двух
мировой посетил меня дух.
Самолично!
И это не фраза.

* * *

И снова на Новодевичьем
толкаем краткие речи.
И вновь поезда товарные
глушат нас лязгом колес.
И вновь под гробы тяжелые
ставим усталые плечи,
и снова задыхаемся
от в горле застрявших слез.

Когда умирают товарищи,
они перебираются
к товарищам, кто постарше,
к тем, кто умер уже.
А те, кто помладше, товарищи,
на кладбище собираются,
чтобы побыть с товарищами
на роковом рубеже.

Все больше наших на кладбище.
Все меньше наших на гульбище.
Времени крепкие лапища
хватают нас за рубища.

**Хватают, не отпускают
уйти никто не смог.**

**Но гроб уже опускают.
Бросаю земли комок.**

САМОЕ НАЧАЛО ВЕСНЫ

Памяти И. Сельвинского

Ртуть приподнимает черточку над собой,
как головой высаживают днище бочонка в сказке,
или как надсаживают голосовые связки,
или как смеются — прямо в глаза — над судьбой.

Ртуть приподнимается.

Фауну и флору

тащит, не унимается

в сказочных темпах фольклора.

Ртуть приподнимается —

и все вокруг меняется.

Даже сосульки плавятся,

и все мне очень нравится.

Ртуть к облакам уходит.

Свидетельствует она,

что вот зима проходит,

что вот приходит весна.

Да, это весна. Конечно, это она.

Радуюсь, поражаюсь,

как будто ее не ждали.

Смотришь на вчера еще

бурые, серые дали.

Сегодня там сплошная
синяя голубизна.
Весна, весна, конечно, она.

Ртуть, текущая кверху,
как диаграмма роста,
устраивает поверку
доблести и героизму
нашей реки, ломающей
двухаршинный лед,
а также птичке маленькой,
уходящей в полет.
Речку, а также птичку,
прущих против рожна,
проверяет на стычку
весна, весна, конечно, она,
весенняя, синяя, веселая голубизна.

Нечаянная,жданная,
внезапная, подготовленная!
Снова дали дальние,
на солнышке настоянные.
Запах земли, запах
коры! Как пахнет кора!
Вечер еще зябок!
В полдень уже жара.

3



ПРОДЛЕННЫЙ ПОЛДЕНЬ

**Продленный полдень лучше дня продленного,
и солнышко, что с неба полуденного
печет,— по-настоящему печет.
Вечернее же солнышко — не в счет.**

**В продленный полдень медленней течет
река, поскольку далеко до вечера
и торопиться не к чему и нечего.**

**В продленный полдень — старикам почет,
поскольку молодость у всех — продленная,
и летний дождик медленней сечет,
и вздрагивает дорога запыленная.**

**Но представлять приходится отчет
за все: за основное и продленное.**

ДОЖДЬ

Шел дождь и перестал
И вновь пошел.

Из «Скупого рыцаря»

Мы въехали в дождь и выехали
и снова въехали в дождь.
Здесь шел, мокрее выхухоли,
поэзии русской вождь.
Здесь
 русской поэзии солнце
прислушивалось:
в окно
дождь
рвется, ломится, бьется.
Давно уже.
Очень давно.

От прошлого ливня сыра еще
земля,
а он снова льет.
Дождь,
ливший позавчера еще,
и послезавтра польет.

Здесь
первый гений отечества,
в осеннюю глядя мглу,
внимал,
как тычется-мечется,
скребется
дождь по стеклу,
глядел,
как мучится-корчится
под ливнем
здешняя весь,
и думал:
когда он кончится?
Когда он выльется весь!

Шел дождь, и перестал, и
вновь пошел.
У окна
строка написалась простая,
за нею — еще одна.
Они доходят отлично —
вся сила и весь объем,
когда живешь самолично
под тем же псковским дождем.
Да, русской поэзии солнце
как следует и не поймешь,
покуда под дождь не проснешься,
под тот же дождь —
не заснешь.

СТРАННАЯ СУДЬБА МЕЖДОМЕТИЯ

Чул —

Пушкина, Жуковского, Некрасова,
звучащее когда-то как труба,
в негодование из стихов выбрасываю:
у междометий странная судьба.

И в этом веке

горести, печали,
злосчастия
не обошли Москвы,
но вы, конечно, замечали —
никто не говорит о них:
увы!

Числительные и местоимения
спокойно пережили те имена,
те вотчины,

где их вставляли в стих.
Их голос до сих пор не стих.

Но восклицания вместе с восклицавшими,
в междоусобицах гражданских павшими,
откочевали в давние года.
Ушли и не вернуться никогда.

УЛИЦА МАЙКОВА В БОРОВИЧАХ

За что такая улица Майкову в Боровичах,
заросшая разнотравьем в своей проезжей части?
Поэт, который давненько полузабыт и зачах,
он стоит ли этой чести,
достоин ли этого счастья?

Дома ее, егерями
ползущие по горе,
кирпичные ворота
и деревянные стены
прекрасны, когда от солнца
они горят на заре,
чудесны, когда от ночи
бросают длинные тени!

Какие потоки по Майкова
бегут во время дождей!
Какие ребята по Майкова
бегут на рассвете в школу!
А сколько живет на Майкова
хороших советских людей,
прямых потомков ушкуйников
и деятелей раскола!

За что все это Майкову?
И Тютчев не получал
таких домов над крышами
и желобов столь узорчатых
и светлых вечерами,
но гаснущих по ночам,
неописуемых ставен,
двустворчатых
и трехстворчатых.

За то все это Майкову,
что он был любим и чтим.
Мы столько перезабыли,
но более — не хотим!
За эту давнопрошедшую,
но до конца не избытую,
иглой в душу вошедшую,
доселе не позабытую
любовь!
За то, что Майков
мечтал,
и творил,
и жил,
он улицу заслужил
прекрасную,
в мае зеленую,
в июле — солнцем спаленную,
зимою — снегом беленную,
улицу имени Майкова
он в Боровичах
заслужил!

★ ★ ★

Машинки стук,
точнее, стрекотанье.
Каких-то букв
с каких-то гор катанье.

Какой-то знак
то горько вопрошает,
то просто так
сумбурно восклицает.

Какой-то тик
трясет лицо машинки:
забейте их,
проклятые ошибки!

Какой-то ток
машинка источает,
когда итог
последний уточняет.

**Время отберет и отберет:
не спеша, не торопясь, без спора,
молодость и старость отберет
и с неспешкой той же отберет
то, что стоит этого отбора.**

**Получив отказ из всех инстанций,
верю в этого я судию,
не хочу с надеждою расстаться,
времени бумагу подаю.**

ТАНЦЫ

Танцую от печки. Ведь печка
не хуже любого местечка.

Танцую от старого танца —
от слова усопшего старца.

Как старые вещи лицуют,
так старые танцы танцуют.

Но заново гляну на вещи
и танец станцую новейший —

от печки, которую сложат
в тридцатом столетье, быть может.

Что день нам грядущий готовит,
станцую, хоть, верно, не стоит,

а стоит заняться забытым
в хореографии бытом:

от мысли почти гениальной,
подслушанной в давке трамвайной,

от пения провода в бурю,
что песнь превосходит любую,

от стука на рельсовом стыке,
от скрипа старинной пластинки

исходит, как запах от розы,
исполненный сладостной прозы

мотив для таковского танца,
чтоб мир заплясал, может статься.

**РАСШИРЕННОЕ
ВОСПРОИЗВОДСТВО ПОЭТОВ**

Ничего по своему
образу, подобию.
Ты не бог,
а педагог.
В соответствии уму,
и его и своему,
искорки готовые
раздуваешь в огонек.

Он из глины не возник —
ученик,
рыжий или черный.
В нынешний двадцатый век
он такой же человек,
только неученый.

Ты его не выловил —
он сам пришел к тебе.
Ты его не вылепил,
и в его судьбе
ты не бог,
а педагог.
Ты ему помог,
как мог.

Он записывает за
тобою советы.
Он глядит тебе в глаза
преданно за это.
Но он спину разогнет!
Школьничества сладкий гнет
с наслажденьем сбросит,
совета не спросит.
Ты — ступень,
а он — ходок.
Ты не бог,
а педагог.
Знай, сверчок,
свой шесток:
ты не бог,
а педагог.

Не преграда,
не порог,
просто — путь-дорога!
Ты не бог,
а педагог.
Значит, хлеще бога.

* * *

**Предварительны все итоги.
Окончательных не подведут.
Может быть, досужие боги,
если руки у них дойдут.**

**А покуда хороним барда
и не знаем о нем ничего,
округляя до миллиарда
мировое значенье его.**

МЕТОД СОЛОВЬЯ

**Почему-то считается,
что соловьи надрываются
и за сердце хватаются,
если оно разрывается.**

**Между тем, мастерство
соловьиного ранга
выше пота
и лучше труда.
Бродит вольным и наглым бродягою брага.
Так же и соловей.
Он поет, но с прохладцей всегда.**

**Он не только певучий,
но также крылатый.
Он давно овладел
и приемами трели,
и трудным искусством рулады.
Овладел
и поэтому охладел.**

**Хладный разум соловушки,
ясность головушки
по естественности
напоминает мне солнышко.**

По естественности,
по непосредственности,
потому что, в отличие от посредственности,
вся метода, сноровка, рабочий прием,
все подробности мастерства соловьиного
укрывает листва —
все секреты его до единого,
оставляя наедине нас
с самим соловьем.

ЛЬВЫ В ВЫШНЕМ ВОЛОЧКЕ

Над ними тучи парусят
в медлительном

темпе

гавота.

Напоминая поросят,
телят, щенят,

еще кого-то.

Из пыли высунув едва
свои величественные морды,
четыре площадные льва
лежат униженно и гордо.

Затем ли мастер крепостной
их отливал в своем подклетье,
чтоб пресмыкались предо мной
львы

позапрошлого столетья!

Льва не единожды не зрев —
их в Вышнем было очень мало, —
он лил их по гравюре.

Лев!

Гравюра веско утверждала.

А мал был лев или велик,
не знал скульптор вышневолоцкий,
отливший хвост, и торс, и лик,
хоть львиный, но довольно плоский.

Опала в августе листва,
зане жара была в то лето.

На взгляд проезжего поэта,
пустыня окружала льва.

Столичных экскурсантов рой,
автобусом насквозь пропахлый,
был загнан тою же жарой
в тень той же самой флоры
чахлой.

Их всех развеселил на миг,
развлек на целое мгновенье
и львиный хвост,
и львиный лик,
и грузной лапы мановенье.

Затем ли?
Видимо, затем.
Другой причины я не вижу.

За сквером маленьким, за тем,
а также несколько повыше,
располагались небеса,
большие, синие, пустые.

На лики львиные
 простые
вечерняя
 пала роса.

МАЯТНИК В СОБОРЕ

Снова год не приходится на год,
не приходится на год год.
После года тяжелых тягот
наступает год легких льгот.

Как на маятнике, подвешенном
на крюке, что забит в звезду,
в спектре неба, пестром и смешанном,
я то влево, то вправо иду.

Купол неба — как купол храма.
Как смоленский собор, мир велик,—
там
 по физике школьной
 программу
комсомол изучать привык.

Как мотаться было тоскливо
тому маятнику Фуко!
Как смеялись внизу счастливо!
Как учиться было легко!

Безо всякого комментария,
как смоленский старожил,

позабытую эту историю
мне Твардовский изложил.

Не прибавил, не убавил —
просто случай изложил.
И меня — не позабавил
и себя — не ублажил.

КОЛОКОЛА

Колокола, а также бубенцы,
но с даром отзыва и звона,
звонят и звякают во все концы,
как и во время оно.

Разорванную связь времен,
веков расставшихся громады
не связывает перезвон.
Он нужен для порядка, аромата.

В нем только ностальгия новизны
о старине,
костей ломота,
струенье крови,
явственные сны,
культурно-политическая мода.

Но мне ли отрицать, что перезвон
при всем при том
владычен и державен,
что в нем своя краса и свой закон,
что небу и Бетховену он равен.

НОВЫЕ ЧУВСТВА

Постепенно ослаблены пять основных,
пять известных, классических,
пять знаменитых,
надоевших, уставших, привычных, избитых.
Постепенно усилено много иных.

Что там зрение, осязание, слух?
Даже ежели с ними и сяду я в лужу,
будь я полностью слеп,
окончательно глух —
ощущаю и чувствую все же не хуже.

То, о чем догадаться я прежде не мог,
когда сами собою стихи получались,
ощущаясь
как полупечаль, полушалость,
то, что прежде
 меня на развилке дорог

почему-то толкало не влево, а вправо,
или влево, не вправо,
спирая мне дух, —
ныне ясно, как счастье,
понятно, как слава
и как зрение, осязание, слух.

То, что прежде случайно, подобно лучу,
залетало в мою темноту, забредало,
что-то вроде провиденья или радара,—
можно словом назвать.
Только я не хочу.

И чем стекла сильнее в очках у меня,
тем мне чтение в душах доступней и проще,
и не только при свете и радости дня,
но и в черной беспросветности ночи.

РАССВЕТ В МУЗЕЕ

Я к Третьяковке шел в обход.
Я начал не сюжетом — цветом.
И молодость мне кажется рассветом
в музее.

Солнышко взойдет вот-вот,
и стены по сетчатке полоснут,
холсты заголосят и разъярятся,
и несколько пройдет минут,
которые не повторятся.

Музей моих друзей и мой!
В неделю раз, а может быть, и чаще
я приходил, словно домой,
к твоим кубам. К твоим квадратам.

В счастье.

И если звуки у меня звучат
и если я слога слагать обучен,
то потому, что по твоим зыбучим
пескам прошел,
вдохнул трясины чад.

Как учат алфавиту: «А» и «Б»,
сначала альфу, а потом и бету,

твой красный полыхал в моей судьбе
и твой зеленый обещал победу.

И ежели, как ныне говорят,
дает плоды наш труд упорный —
и потому,
 что черный был квадрат
действительно — квадрат,
и вправду — черный.

Я реалист, но я встречал рассвет
в просторных залах этого музея,
в огромные глаза картин глаза,
стремительные, как пробег планет.

ЮОН

**Колокол с колокольни.
Ласточки над куполами.
Над золотом купола —
золото солнца.
Над белой церковью —
синее небо.
Радость, радость, радость —
перезвон счастья.**

ПЕТРОВ-ВОДКИН

Петров считал, что кривизна
земного шара
должна быть явственно видна
в любой картине.

И люди из его земли,
а также кони
как будто пальцами росли,
как из ладони.

И в чине Водкина, Петров,
в блаженном чине,
стоит меж прочих мастеров
по той причине.

Петрова-Водкина за то
менялась слава:
то — с безымянный, то — с большой,
а то — с мизинец,

покуда, стиснувшись в кулак,
всей пятипалостью
не дербалызнула, да так,
что все услышали.

ХОЗЯИН, А НЕ ГОСТЬ

У Кузнецова слово
цепляло другое слово,
и Павла Варфоломеича
поэтому, разумеется,
понять было нелегко.
Зато на его полотнах
все было ясно, прекрасно,
все было густо, плотно,
как млечных путей молоко.

Послушавши разговоры,
а в них описывал он
минувших времен договоры
художнических племен,
я скашивал глаз на стенку,
где не бывало оттенка,
но быстрым ходом планет
шел цвет.

Шел цвет — косяк
цветных сельдей.
Стоял казах
среди степей.

Ревели желтые ослы
свои хулы или хвалы,
и шли их сильные голоса
в синие небеса.

А ежели писался мираж,
был он столь густ,
что его, как масло, мажь
и пробуй с хлебом — на вкус.
А ежели писалась гора,
а на ней лоза,
была гора настолько остра,
что резала глаза.

Мне в голову приходило не раз,
разгадка была легка,
что Кузнецову нужен рассказ,
как третья нога или третья рука.

Покуда в мире есть цвета,
в тюбиках краски есть,
на квадратном метре холста
хозяин он, а не гость.
Покуда красное горячит,
синее холодит
и каждый цвет — поет, рычит,
требует, твердит,
пока продаются кисти, пока
в тюбиках краски есть,—
ему не требуется языка
другого. Других средств.
Словно предки его — кузнецы —
подковы всех сортов,

он знал начала и концы
каждого из цветов.
Не боявшийся ничего —
мнений, влияний, сил,—
словно Павел, тезка его,
веру свою проносил.
Словно отец его Варфоломей,
такую устраивал ночь,
чтобы черного черней,
чтобы все звезды — прочь.

Как обычно, среди стихий —
вот он — живой, стоит.
Молча выслушивает стихи,
но мнение — утаит.

КАРТИНЫ ГАЛЕНЦА

**Проломы в московских стенах,
в которых светится солнце
какого-то южного цвета,—
и не толкуйте о ценах:
кто знает цену на солнце,
на солнце в часы рассвета?**

**Цитаты горячего юга,
повешенные на обоях
и на сухой известке,
и огненная вьюга,
бушующая среди снежной.**

СТАРОЕ СИНЕЕ

Гроыхая костями,
но спину почти не горбят,
в старом лыжном костюме
на старом и пыльном Арбате,
в середине июля,
в середине московского лета —
Фальк!
Мы тотчас свернули.
Мне точно запомнилось это.

У величья бывают
одежды любого пошива,
и оно надевает
костюмы любого пошиба.
Старый лыжный костюм
он таскал фатовато и свойски,
словно старый мундир
небывалого старого войска.

Я же рядом шагал,
молчаливо любуясь мундиром
тех полков, где Шагал —
рядовым, а Рембрандт —
командиром,

и где краски берут
прямо с неба — с небес отдирают,
где не тягостен труд
и где мертвые не умирают.

Так под небом Москвы,
синим небом, застиранным, старым,
не склонив головы,
твердым шагом, ничуть не усталым,
шел художник, влачил
свои старые синие крылья,
и неважно, о чем
мы тогда говорили.

РАЙ

Боттичелли
облагораживает. Почему — не знаю.
Не знаю. Оживи Венера —
ее бы мяли, лапали и жали.
Недолго бы Венера продержалась —
затискали бы, затаскали.
Но здесь, в просторном зале
всемирно знаменитой галереи,
мы растерялись перед Боттичелли.
«Рай!» — кто-то неуверенно промолвил.
«Похоже», — глухо отозвался
какой-то специалист по раю.
Но разговор не вышел. Подставляя
свои канавы океану,
зовомому по-океански — Боттичелли,
мы тонем молча.
Жизнь давно на склоне.
Могли бы мы не побывать в Италии?
Могли бы мы, приехав во Флоренцию,
пойти в trattoria, а не в Уффици?
Что, собственно, изменится? В trattoria
мы все-таки пойдём. Италию
покинем через две недели,
и попадись Венера
нам в жизни, в действительности, — не упустим.

**Все верно. Тем не менее
на склоне жизни,
склоняясь все ниже,
я буду повторять:
«Я видел
рождение Венеры».**

ПРИВЯЗЧИВАЯ МЕЛОДИЯ

Глухая музыка, затертая стеной,
сочащаяся, словно кровь сквозь марлю,
как рыженький котенок малый,
увязывается вслед за мной.

Что требуется музыке глухой,
невзрачной песне
от меня? Немного.

Молчания почти немного —
учитывается слух плохой,—

а также подчинения всего:
походки, ритма и существованья —
ее знахарству, чарам, волхованью,
владычеству.
А больше ничего.

ВЕРНОСТЬ

А верность этому рисунку,
сему расположенью звезд,—
сильней расчета и рассудка.

И этой плотности тумана,
и этой сложности романа —
так мог писать один Толстой.

И снегу, с белизной кричащей,
заваливающему на полгода
дома, и площади, и чащи.

Верны не в силу обязательств,
законоположений или —
благодаря незримой силе,

колосья связывающей с почвой,
в руду включающей металлы,
объединяющей день с ночью.

О ВЕЧНОСТИ

Еще неизвестно: вечность — чулан или океан,
звездное небо
или пайка хлеба,
и вычислен этот образ или попросту дан,
умно или безумно, обдуманно или нелепо.

Еще неизвестно:
вечность кончается вместе со мною,
сгинет со мною в могиле,
прорастет ли травой?
И чем она обернется?
Беспрерывной войною?
Беспрерывным ли счастьем?
Язвой ли мировой?

Бескрайняя не как море, где все же есть берега,
бескрайняя, как горе, где берег один — забвенье,
чем же необходима,
почему дорога
цепь гремучая вечности,
где все мы малые звенья?

Дыре этой черной и гулкой
единожды повезло:

какие-то атомы, клетки,
какие-то тусклые светы
в каком-то ее переулке
добро разделили и зло
и нарекли ее: вечность,
и отвечают за это.

А если нас не будет, с нее этикетку сорвут.
Она сама забудет,
как же ее зовут.

УТРО, КОТОРОЕ МУДРЕНЕЕ

Я отстраню ночные страхи —
пластался с ними я во прахе,
и старость смою я водой,
и стану снова молодой.

Недаром бешено и кратко
радиоточки марш ревут.
Недаром делают зарядку,
как путы рвут,
как цепи рвут.

Я обнадежен и утешен
старинным символом, простейшим —
восходом солнышка.
Оно
восходит так же, как давно.

Восходит, как в молодые годы,
а в молодые те года
не замечал я непогоды
и собирался жить — всегда.

СОДЕРЖАНИЕ

1

Самое начало дня	5
«Глухую ночью таксисты...»	6
Ночью в Москве	8
Реконструкция Москвы	10
Мировой масштаб	11
Фреска «Злоба дня» (Фрагменты)	13
Заклинанье	16
Зал ожиданья	17
Остров в небе	18
Прощание	20
«Забился на верхнюю полку...»	21
Журавли	22
Полуторка	24
Одиссей	26
Итака	28
Толстые книги	30
Перед вечером	32
Как смотреть на ночное небо	33
Белые руки	34
«Кони бегут под закатом...»	36
Грязная чайка	37

Гостиница	39
Сосед	41
Я бы, я бы!	42
Ночь	44
Кирпичонок	45
Лучше быть молодым	46

2

Отец	49
Давным-давно	51
Велосипеды	53
«Солоно приходится и горько...»	56
Любовь к поношенным вещам	57
«Воспоминания — позолота...»	58
Салюты	59
Мороз	61
Фронт проходил по Гжатскому району	64
Нашел!	66
Послевоенный шик	68
Пляжи сорок шестого года	70
Чистота	72
«Я был человек его века...»	74
Воспоминание о дружбе	75
Певица	76
Песок	78
Угол	79
Анализ фотографии	81
«Полцарства отдавал я за коня...»	83
Жалкие пляски	84
«Суетился перед природой...»	85
Пар и душа	86
Без нервов	87
Одна сатана	88

«Слышал — наслышкой...»	89
Платон	90
Судьба Монако	91
Деревья	92
«У всех мальчишек круглые лица...»	93
Вечное движение	94
Проверка	95
Голубь и грузовик	96
«В комнате без занавесок...»	97
Цветное белье	98
Фоминишна	101
«Оскорбление преувеличило...»	102
«То, что это все,— не сахар...»	103
Мудрость тела	104
«Все тяжелей отягощает тело...»	106
Выбор	107
«И снова на Новодевичьем...»	109
Самое начало весны	111

3

Продленный полдень	115
Дождь	116
Странная судьба междометий	118
Улица Майкова в Боровичах	119
«Машинки стук...»	121
«Время отберет и отберет...»	122
Танцы	123
Расширенное воспроизводство поэтов	125
«Предварительны все итоги...»	127
Метод соловья	128
Львы в Вышнем Волочке	130
Маятник в соборе	133
Колокола	135

Новые чувства	136
Рассвет в музее	138
Юон	140
Петров-Водкин	141
Хозяин, а не гость	142
Картины Галенца	145
Старое синее	146
Рай	148
Привязчивая мелодия	150
Верность	151
О вечности	152
Утро, которое мудренее	154